

щине как нечистом существе, созданном для того, чтобы погубить мужчину. Эти бесовские, демонические черты присущи — в пародийной форме — и Агафье Тихоновне; всеобщность и всеохватность ее желаний также восходит к славянской архаике. В фольклоре утверждается бесовская природа женщины, причем утверждается именно как животная (недаром ведьма наделена хвостом). В «Женитьбе» звероподобие женщины переходит в план фразеологии (ср. восклицание Кочкарева: «Ах ты, крыса старая!»). Брак в пьесе Гоголя предстает постыдным, так как узаконивает связь с женским — грязным — началом. Однако природа женщины не просто бесовская, а бесовски-смеховая, и докладчик перечислил выявленные им в пьесе приметы фольклорного «кромешного мира»: насмешка над всем нерусским (без французского «все уж будет не то»), обратная логика карнавального увенчания (брань как нормативная оценка), снятие границы между реальностью и фикцией («...что ни скажет слово, то и совет... <...> ...не может не прилгнуть»). В «Женитьбе» у комического обнаруживается инфернальная подкладка (окно, в которое выскакивает Подколесин, спасаясь от невесты, в восточнославянском фольклоре служит для связи с потусторонним миром), но в то же время инфернальное предстает комическим (таков Кочкарев — самозванный, демонический патрон брака). В ранних циклах страх женской/брачной угрозы отделялся от автора тем, что выступал частью изображаемого фольклорно-архаического мира; в «Женитьбе» Гоголь дистанцируется от своего страха иначе — передавая его комическому герою в комическом мире. В ходе обсуждения Сергей Серебряный поинтересовался у Иосифа Зислина, можно ли считать женобоязнь болезнью, но Зислин заверил, что в данном случае можно говорить только о психоаналитическом и культурном контексте, психиатрического же диагноза «женобоязнь» не существует. Была также отмечена связь — возникшая совершенно случайно и незапрограммированная — между докладами Зенкина и Иваницкого: в обоих случаях герой желает обладать женщиной и в то же самое время ее боится; однако проблему они решают по-разному: герой Феллини загоняет женщину в рамки билборда, а герой Гоголя сам выскакивает за рамку — в окно.

*Вера Мильчина*

Международная конференция  
**XXVII Большие Банные чтения**  
**«Антропология насилия:**  
**государство, общество, культура»**

(Журнал «Новое литературное обозрение»,  
 22—23 и 29—30 мая 2021 года)

DOI: 10.53953/088696365\_2021\_172\_6\_405

22—23 и 29—30 мая состоялись XXVII Большие Банные чтения «Антропология насилия: государство, общество, культура», впервые за историю конференции прошедшие в онлайн-формате. В центре внимания докладчиков оказались сюжеты, связанные с государственным насилием. Исследователей интересовало то, как различные режимы насилия функционируют и легитимируются посредством госу-

дарственных аппаратов; в какой мере насилие трансформирует память и идентичности тех, кому пришлось с ним столкнуться; каковы делящиеся социальные и культурные последствия пережитого экстремального насилия. Участники конференции также осмыслили, из каких элементов складывается дискурсивная практика применения насилия, как она и ее адресат трансформируются в различных исторических контекстах. Важным мотивом конференции стали культурные репрезентации насилия: когда культура способна стать инструментом критики и денормализации насилия, создавая новые языки разговора о нем, а когда служит средством ее символического оправдания. Следуя многолетней традиции, конференция объединила представителей различных гуманитарных дисциплин: историков, философов, социологов, исследователей культуры и литературы. Всего в конференции приняло участие 18 исследователей из России, США, Германии и Великобритании.

Конференцию открыл Евгений Блинов (ТюмГУ / Институт философии РАН, Токио/Москва) докладом «Путь террора: от воплощения добродетели к абсолютному злу». Вопрос о государственном насилии, ключевой для современных обществ, обладает не до конца проясненным статусом в современной международной юридической практике. Допуская право народа на восстание, эта практика в то же время стремится закрепить за государством право на легитимное насилие. Прослеживая становление этой сложной правовой конфигурации, автор исследует развитие мысли о насилии и «терроре», выделяя в этом процессе четыре этапа. Первый — теоретическая работа Джона Локка, в которой декларировалось право на восстание против тирании. Второй — декларации и манифесты Великой французской революции, где легитимируется право на восстание против несправедливого правления, но делегитимируется восстание против республики как оксюморонное: восстание народа против самого себя. На этом этапе государственный террор становится законным средством против «злоупотребления» правом на восстание и признается в качестве эффективного средства воздействия на «мораль» населения. Третий этап связан с большевистской теоретизацией терроризма: по мнению Троцкого, политическое насилие легитимно, если подчинено цели исторического прогресса и служит возвышению нового, становящегося класса над старым и уходящим. Насилие объективируется, становясь не просто политической практикой, но инструментом самой истории. И наконец, четвертый этап развития теоретической мысли о терроре и насилии — это формирование современной антитеррористической парадигмы и появление концепций превентивной войны против террора. Внутри этих концепций противник перестает мыслиться субъектом политики и становится мишенью, которую необходимо устранить. Следствием и одновременно кульминацией такого подхода стали новые методы ведения дистанционной войны с помощью беспилотных летательных средств, в которых исключался прямой контакт между противоборствующими сторонами. Проблема терроризма стала своеобразной «ничьей землей», находящейся внутри противоречия между политическим действием и государственным правом.

В докладе «Кто и сколько? Жертвы сталинизма в научной историографии и массовые исторические представления в современной России» Олег Хлевнюк (НИУ ВШЭ, Москва) сопоставил популярные нарративы о сталинизме с актуальными научными данными. Многие представления о системе государственного насилия, признанные историками несостоятельными, до сих пор активно циркулируют в российском обществе; среди них, например, идея о том, что сталинский террор был направлен прежде всего против бюрократии, или расхожее мнение о распространенности практики доносов. Однако есть вопросы, разрешение которых, возможно, смогло бы уменьшить количество исторических мифов и фальсификаций. Одним из основных является вопрос о количестве и составе жертв ста-

линской репрессивной системы. Наиболее известными элементами этой системы являются, безусловно, аресты по приговорам чрезвычайных органов, расстрелы, ссылки и заключения в лагеря. Однако они оказываются лишь наиболее видимой частью репрессивной системы — помимо них существовали менее заметные репрессивные механизмы: аресты без последующих приговоров, высылка из города, осуждение без лишения свободы и многие другие. Этим процессам довольно сложно дать количественную оценку, в частности из-за ненадлежащего качества ведомственной статистики. Далее докладчиком были предложены оценки по каждой из категорий: около миллиона было расстреляно в период с 1930 по 1952 год; около 17 миллионов заключенных прошли лагеря, колонии и тюрьмы; около 6 миллионов подверглись депортации; около 2 миллионов прошли заключение без вынесения приговора; около 23 миллионов приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Опираясь на эти данные, можно с уверенностью говорить о десятках миллионах человек, столкнувшихся с системой государственного террора. Кроме того, особенностью сталинской системы являлись криминализация общественных отношений и неоправданно жестокие наказания за незначительные проступки и нарушения, на которые людей толкало бедственное материальное положение. «Классические» уголовные преступления, такие как убийства, изнасилования и грабежи, составляли незначительную часть в статистике обвинительных приговоров, при этом огромная доля приговоров выносилась в рамках массовых кампаний по криминализации социально-экономических отношений. Так, в период с 1940 по 1953 год около 16 миллионов человек были осуждены за нарушение трудовой дисциплины. При обсуждении судебной практики сталинского периода часто можно столкнуться с возражением, что каждую эпоху следует судить по ее внутренним законам, однако существует значительный объем материалов, доказывающих, что жестокие наказания воспринимались с негодованием не только обществом, но и людьми, непосредственно работавшими в области юстиции. Все вышперечисленные факты свидетельствуют о том, что необходимо углубленное исследование сталинского периода, которое позволило бы лучше понять динамику развития диктатур и устройство их репрессивных механизмов.

В докладе «*Насилие провокации как тактика и дискурс: исследование двух политических культур (Россия/США)*» Линн Элен Паттык (Дартмутский колледж, США) рассмотрела феномен провокации как один из методов политической коммуникации и специфическое политическое действие. Размывая границы между словом и делом, спутывая привычные нарративы, подрывая субъект-объектную дихотомию, провокация ставит вопрос о том, что такое насилие и как его распознать. Провокатор стремится поглотить агентность другого, пользуясь им как своим медиальным расширением для достижения целей. Несмотря на универсальность, провокация имеет культурно-специфические формы, которые докладчица рассмотрела на примере двух политических культур: российской и американской. Для русскоязычной политической культуры характерно употребление термина «провокация» в качестве негативного описания определенного вида политического поведения, а слово «провокатор» находится в том же семантическом поле, что «экстремист» и «террорист». Согласно терминологии лингвистики Анны Вежбицкой, понятие «провокация» принадлежит к «культурным ключевым словам», которые отсылают к значимому историческому опыту и отражают определенные способы мысли и действия. В политическом контексте США слово «провокация» используется значительно реже и в меньшем числе контекстов, вместо него в политическом языке существует богатый набор метафор: например, *false flag* («операция под чужим флагом»), а также понятия *triggering* (действие, направленное на оскорбление ценностей и идеалов оппонента) и *owning* (стремление к униже-

нию и подавлению оппонента в публичной конфронтации), которыми в интернете пользуются представители правых взглядов. Далее автор различает два вида политической провокации: манипулятивная и конфликтная. Целью манипулятивной провокации являются сторонники субъекта провокации: он стремится «инфицировать» их определенными выгодными для себя аффектами и состояниями. Теория манипулятивной провокации, описанная медиаисследователем Валентином Степановым, сходна с теорией заражения, предложенной Львом Толстым для описания действия искусства. В рамках этой теории становится возможным проанализировать речь Трампа 6 января 2021 года, предвещающую штурм Капитолия. Несмотря на отсутствие явных указаний и призывов, речь была воспринята сторонниками как руководство к прямому действию. Другой вид провокации — конфронтационный, концептуализированный немецким исследователем Райнером Парисом — был использован Алексеем Навальным, вернувшимся в Москву под угрозой ареста. Эта провокация направлена уже не на сторонников, а на субъект власти в условиях асимметрии сил. Провокатор заставляет власть действовать в навязанном ей сценарии, чрезмерными и неадекватными реакциями обнажая собственное устройство и дискредитируя себя. Кроме того, такой вид провокации позволяет актуализировать в медиапространстве себя и свою повестку. Описанные события, произошедшие в различных контекстах, показывают, что провокация является чрезвычайно эффективным средством политической коммуникации.

В докладе *«Государственное насилие, чрезвычайное положение и роль царя»* Нэнси III. Коллман (Стэнфордский университет, США) обратилась к вопросу о том, как Российское государство использовало и легитимизировало насилие в уголовном законодательстве в XVII—XIX веках. Физическое насилие как инструмент дознания и способ наказания за уголовные преступления активно использовалось в судопроизводстве XVII века. Применение насилия регламентировалось различными правовыми актами (в частности, Соборным уложением и Новоуказными статьями) и в целом не сильно отличалось от юридической практики других государств. Это сходство обеспечивалось общей юридической основой — римским правом, на котором базировалось законодательство большинства европейских стран. Оно подразумевало совмещение в одной фигуре роли судьи и дознавателя, а также требовало для вынесения вердикта недвусмысленного доказательства, которое добывалось при помощи пыток. Помимо этой юридически закрепленной формы применения насилия существовала и другая, характерная для раннеמודерных европейских обществ: философы и теоретики насилия называют ее «чрезвычайным положением» (state of exception). Этой формулой описывается право государя использовать чрезвычайное насилие во время опасности для страны и всеобщего блага («законная незаконность»). Примером реализации такого права на насилие может быть эпизод выдачи двух бояр государем Алексеем Михайловичем во время Соляного бунта 1648 года. На протяжении всего XVIII века можно говорить о тенденции к снижению количества насилия в юридической практике Российской империи: смертная казнь фактически была отменена императрицей Елизаветой Петровной, ее применение сохранилось лишь за государственные преступления — бунт и измену. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, закрепившее ограничение смертной казни, использовало риторику «чрезвычайного положения», воспроизводя патерналистское и архаичное представление о монаршей власти. Исключением в тенденции к снижению уровня государственного насилия были приграничные территории империи, включающие в себя казачьи степи, Кавказ и среднеазиатские области, которые существовали в режиме военного положения.

В завершающей части доклада исследовательница обратилась к феномену крепостничества и его рефлексии российскими и европейскими интеллектуалами на-

чала XIX столетия. Докладчица подчеркнула необходимость проблематизировать эссенциалистское представление о монолитности практик государственного насилия в Российской империи: они различались в зависимости от гендера, социального статуса, возраста, региона и т.д. Прямые и обобщающие сравнения с опытом соседних государств также непродуктивны: невозможно говорить о «большем» или «меньшем» уровне насилия — для этого не существует необходимого аппарата и количественных данных: уместно рассуждать об общих паттернах и отдельных аспектах практик насилия.

Секцию, посвященную насилию и войне, открыл *Арсений Куманьков* (НИУ ВШЭ / МВШСЭН, Москва) докладом «*Война 2.0: вооруженный конфликт в раннюю цифровую эпоху*», в котором рассматривались процессы взаимовлияния медиа и современных военных конфликтов — процессы медиатизации войны и милитаризации медиа. В начале доклада были рассмотрены процессы военной мобилизации «классических» средств массовой информации, которые, освещая военные конфликты, трансформируют свое содержание и военизируют традиционно «мирный» контент. В качестве примера такой рекрутизации невоенных жанров можно привести милитаризацию прогноза погоды на канале «Россия 24» — с 2015 года в нем обозревались погодные условия в зонах военных конфликтов, в которые была вовлечена Россия (восток Украины, Сирия). Одним из следствий такой медиатизации войны становится ее виртуализация — содержание военного конфликта исчерпывается его медийным представлением. Эта логика замещения события его медиапредставлением была описана еще Бодрийяром в серии эссе, посвященных войне в Персидском заливе. Вопрос о подлинности репрезентаций исчезает, в то время как сами репрезентации становятся значимыми факторами конфликта: так, сюжет о «распятом мальчике», показанный по российскому телевидению, несмотря на отсутствие подтверждений, оказал значительный мобилизационный эффект. «Новые медиа» также повлияли на содержание информации о войне. Использование социальных сетей подразумевает принципиальную множественность репрезентаций войны, а также высокую вовлеченность медиапотребителей, которые, комментируя и распространяя контент, становятся непосредственными участниками конфликта. Множественность репрезентаций не подразумевает увеличения достоверности: туман войны не рассеивается, а скорее становится более плотным благодаря увеличению количества контента. Так медиа перестали быть средством информирования и пропаганды, став еще одним пространством, в котором разворачивается конфликт.

В докладе «*Насилие и гендер: деятельность женской лагерной охраны в Равенсбрюке с точки зрения микроистории и нарратологии*» *Иоганнес Шварц* (Департамент культуры города Ганновер, Германия) проанализировал различные формы насилия — структурное, символическое, мягкое, экстремальное и другие — в рабочей практике охранниц СС крупнейшего женского концлагеря Равенсбрюк, а также то, каким образом их агентность была связана с их гендерными ролями и установками. Несмотря на то что Равенсбрюк был местом экстремального насилия, исследователи не обращались к анализу поведения женщин-сотрудниц охраны с точки зрения теории насилия. На примере Эммы Циммер, старшей надзирательницы лагеря, представшей по окончании войны перед военным трибуналом, можно проанализировать агентность охранниц лагеря — например, их способность выполнять те или иные протоколы обращения с заключенными либо уклоняться от них. Дело Циммер, которой было предъявлено множество обвинений в жестокости, демонстрирует разнообразные практики насилия — не прямое насилие (доносы заключенных друг на друга), прямое, физическое либо психологическое насилие, а также структурное — недостаток сна и пищи у заключенных, изнурительная ра-

бота. Другая старшая надзирательница, Йоханна Лангефельд, объясняла вышестоящему начальству примерное поведение заключенных тем, что «женщины любят закон и порядок». Ее линия защиты перед военным трибуналом также была обоснована собственным гендером: женщины, согласно ее показаниям, не имели достаточного влияния на положение узников лагеря. Однако, согласно исследовательнице Джейн Каплан, различие между женщинами и мужчинами, служившими в охране СС, заключалось в том, что женщины должны были на службе отказаться от «феминного» поведения. Тем не менее случай Лангефельд показывает, что она гордилась своими «женскими» идеалами закона и порядка. Женщины в рядах охраны СС часто копировали «мужские» черты своих сослуживцев, такие как жестокость и безжалостность, при этом подчеркивая свою женственность с помощью украшений и прически. Женщины-надзирательницы не отказывались от феминности, а скорее трансформировали ее под условия лагеря, успешно интегрируясь в его социальную структуру.

*Регина Мюльхойзер* (Гамбургский фонд развития науки и культуры / Гамбургский институт социальных исследований, Германия) в докладе «*Сексуальное насилие на войне: поведение отдельных солдат, или военная стратегия*» обратилась к анализу свидетельств и документов о сексуальном насилии военнослужащих вермахта на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Цель доклада — показать, каким образом военное командование вермахта, воспринимая сексуальное насилие как неизбежное следствие войны, использовало это знание и инструментализировало его. Согласно социологу Ульриху Брёклингу, одной из целей военной подготовки является пробуждение «индивидуальной способности к насилию», и потребность в контроле этой способности ведет к появлению большого числа строгих дисциплинарных мер. За подчинение военной дисциплине государство обещает солдату определенные привилегии и свободы, недоступные другим. Одна из этих свобод, обещанных командованием вермахта солдатам, — свобода «сексуальных приключений». Сексуальное насилие в вермахте считалось преступлением, однако суды рассматривали такие случаи только при вопиющих обстоятельствах или при возможном репутационном ущербе. Сексуальная доступность женщин и девочек была центральным сюжетом солдатских историй, его можно было встретить в песнях, открытках, журналах. Согласно Томасу Кюне, исследовавшему военные эго-документы, совместное пьянство и обсуждение сексуальных историй было способом укрепить товарищество в небольших отрядах — нарушение «гражданской морали» давало солдатам чувство избранности. «Право на сексуальное насилие» также могло обеспечить лояльность солдат командиру, «строгие» же офицеры, наказывающие за сексуальные преступления, рисковали потерять преданность своих подчиненных. Таким образом, инструментализация сексуального насилия происходила сразу на нескольких уровнях: от повседневной солдатской культуры до официального военного и медицинского дискурса, в рамках которого действовало высшее командование вермахта. Кроме того, сексуальное насилие использовалось как форма террора в отношении местного населения и способ дегуманизации противника.

В докладе «*“У нас был период времени, когда вообще боялись говорить, что можно обороняться”*: советская военная стратегия в 1930-е годы» *Егор Соколов* (независимый исследователь, Москва) рассмотрел работы по военной теории, созданные в СССР в 1930-е годы. Анализ этих работ позволяет очертить контуры мышления военных специалистов и понять, как идеологические ограничения военной науки повлияли на катастрофические поражения начала Великой Отечественной войны. В качестве показательного примера может выступать рецепция мысли Карла фон Клаузевица советскими военными теоретиками. В 1920-е годы его фи-

гура была легитимирована благодаря упоминаниям в сочинениях Ленина, который в марксистском ключе интерпретировал знаменитую формулу Клаузевица о связи войны и политики. В этом прочтении война и военная организация общества оказывались обусловлены социальным строем и понимались как манифестация воли господствующего класса — эти взгляды на природу войны стали «здравым смыслом» для советских военных теоретиков, при этом позволив им заниматься исследованием и развитием идей Клаузевица. В 1930-е годы марксистская идея о классово-природе войны превращается в пропагандистский лозунг: советская армия лучше, потому что организована на более прогрессивных общественных основаниях. Эта тенденция к идеологизации военной науки нарастает на протяжении всего десятилетия, что приводит к затвердеванию теории, сокращению пространства обсуждаемых тем и отчуждению военных от глобальных стратегических вопросов, решение которых закреплялось за партией и ее вождем. Военные специалисты замыкаются на обсуждении тактики, анализе военной организации других стран и военных конфликтов прошлого — анализ современных теорий войны становится возможным только в контексте «критики буржуазной науки». Одна из идеологических конструкций, которую невозможно было обсуждать, — наступательный характер стратегии Красной армии, исходивший из положения о ее превосходстве над буржуазными армиями. Таким образом, оборона могла рассматриваться только как вспомогательное средство для подготовки к наступлению. Такая теоретическая рамка привела в том числе и к отсутствию руководящих указаний офицерам в условиях боевых действий лета 1941 года.

*Федор Николаи* (НГПУ им. К. Минина, Нижний Новгород / ШАГИ ИОН РАНХиГС) и *Игорь Кобылин* (ИМУ, Нижний Новгород / ШАГИ ИОН РАНХиГС) в докладе «*Правильная дедовщина*», или «*Я их бил, гонял, давил...*»: *насилие в воспоминаниях российских ветеранов боевых действий на Северном Кавказе*» обратились к вопросу, каким образом ветераны чеченских военных кампаний выстраивали свои биографические нарративы о насилии на войне. В статье «Автобиографическая память ветеранов: систематический обзор смешанных исследований»<sup>1</sup> отмечается связь воспоминаний о войне с «гегемонистской цензурой» — общественным консенсусом вокруг военного конфликта. Доминирующие общественные нарративы в значительной степени обуславливают отношение бывших участников войны к своему военному опыту: если в воспоминаниях ветеранов войн XIX — начала XX века доминируют героические мотивы, то участники конфликтов второй половины XX века, таких как Вьетнамская война или португальские колониальные войны, воспринимают свой опыт негативно и видят себя скорее жертвами политической конъюнктуры. Конфликт идентичности, порожденный дистанцией к собственному прошлому, носит терапевтический характер, позволяя критически отнестись к пережитому опыту насилия. Воспоминания участников чеченских войн выстроены другим способом: для многих из них доминирующими оказываются еще советские модели военного мемуара, такие как выступления в школах или интервью корреспонденту официальной газеты. Кроме того, гегемонистский нарратив вокруг этих конфликтов так и не сложился, из-за чего бывшие комбатанты опасаются делиться своим военным опытом. Однако если удастся установить с ними доверительный контакт, то обнаруживается, что у ветеранов не возникает конфликта между гражданской и военной идентичностями — насилие оказывается функционально оправданным. Докладчики рассмотрели нарративы, возникающие вокруг двух видов насилия — внутреннего, относившегося к сослуживцам.

1 *Islam A., Sheppard E., Conway M.A., Haque S. Autobiographical Memory of War Veterans: A Mixed-Studies Systematic Review // Memory Studies. 2021. Vol. 14. Iss. 2. P. 214–239.*

живцам, и внешнего, направленного на врага. Внутреннее насилие описывалось как средство сплочения бойцов и предотвращения «неправильной дедовщины», способ восстановить дисциплину. «Правильная дедовщина» заключалась в том, что старослужащие выполняли роль патерналистской фигуры, уберігающей молодых бойцов от опасности и применяющей насилие исключительно в дидактических целях. Для описания насилия по отношению к врагу используется богатый нарративный репертуар, помогающий либо легитимировать насилие, снять с рассказчика ответственность за него, либо избежать подробного воспоминания. Для проблематизации этих конвенциональных нарративов необходимо сравнить их с воспоминаниями гражданских свидетелей конфликта, провести границу между рассказом об опыте участника и мемуариста. Кроме того, необходимо выработать новый язык описания военных конфликтов, дистантный по отношению к описаниям войны в модернистских, цивилизационных и этнических терминах.

Следующая секция конференции, «Насилие и общество», была посвящена проблеме радикализации политических форм насилия.

Согласно распространенному нарративу о происхождении терроризма, его современные политические формы были изобретены в Российской империи второй половины XIX века и связаны с именем Дмитрия Каракозова, предпринявшего попытку покушения на императора Александра II, и с радикальными движениями, такими как «Народная воля». В докладе *«Изобретение терроризма в XIX веке в Европе, России и США»* Карола Дитце (Йенский университет им. Ф. Шиллера, Германия) поставила под сомнение устоявшуюся генеалогию терроризма. Немецкий социолог Петер Вальдманн определяет терроризм прежде всего как акт политической коммуникации. Согласно его теории, от других видов насилия терроризм отличает спланированность, направленность против доминирующего политического порядка и символическое сообщение, оказывающееся важнее физического урона. Ключевую роль в распространении сообщения играют медиа, благодаря которым оно может произвести политический эффект: общественный раскол и мобилизацию сторонников. По мнению докладчицы, процесс становления современного терроризма занял меньше десятилетия: его следует отсчитывать с покушения Феличе Орсини на императора Наполеона III 1858 года; покушение Каракозова — последнее в этом ряду. Покушение Орсини отличалось от других покушений на Наполеона III масштабами и было срежиссировано таким образом, чтобы впечатлить свидетелей. Убийство Наполеона III должно было стать сигналом к революции сначала во Франции, а потом и в других странах. Несмотря на неуспех покушения, новость о нем распространилась в Европе и пересекла Атлантику — во многом благодаря действиям Наполеона III, который сделал суд над Орсини публичным, преследуя свои политические цели. Следующим в этом ряду следует считать аболициониста Джона Брауна, захватившего арсенал в Харперс-Ферри. Известно, что изначально Браун намеревался вести партизанскую войну с целью освобождения рабов, но изменил свои планы под впечатлением от суда над Орсини. Действия Брауна привели к поляризации и радикализации американского общества и оказались успешными для распространения политического сообщения. Как минимум три человека были вдохновлены примерами Орсини и Брауна: Оскар Беккер, покушавшийся на короля Пруссии Вильгельма, убийца президента Линкольна Джон Бут и Дмитрий Каракозов. Таким образом, феномен терроризма можно рассматривать как продукт межконтинентальной коммуникации и обучения, в котором важную роль играло развитие медиа и публичной сферы.

В докладе *«Война без мира: милитаризация российского общества как одно из последствий войн в Афганистане и Чечне»* Елена Рачева (Оксфордский уни-



верситет, Великобритания) проследила, каким образом память о военных конфликтах недавнего прошлого трансформируется под влиянием официального идеологического дискурса. На протяжении всех 1990-х годов российское общество крайне негативно относилось к Афганской войне: в 1991 году, по данным «Левада-центра», около 70% россиян назвали ее государственным преступлением. Военнослужащие, участвовавшие в ней, не только не могли рассчитывать на статус ветерана, который был закреплен лишь за участниками Великой Отечественной войны, но и встречались со стигматизацией и маргинализацией со стороны общества, напуганного «афганским синдромом». Отношение к афганскому конфликту начало резко меняться с началом 2000-х годов: уже в 2000 году новоизбранный президент обратился к ветеранам с речью, в которой присутствовали элементы, ставшие основными в последующем дискурсе о войне: преемственность воинов-«афганцев» по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, узы «афганского братства», отвага и верность присяге. Такое описание, однако, не означало признание войны справедливой или важной, но уже в 2010-х война в Афганистане в государственном дискурсе стала одним из эпизодов глобального противостояния международному экстремизму и терроризму, финансируемому Западом. За бывшими участниками войны был законодательно закреплен ветеранский статус, их репрезентация приобретала все более героические формы. Ветеранские организации трансформировались из небольших объединений взаимопомощи и правовой защиты в крупные государственные структуры, чья роль все более смещалась к поддержке государственной идеологии и официальных режимов памяти. Ветераны Афганской войны начали замещать ветеранов Великой Отечественной войны в мероприятиях, посвященных военно-патриотическому воспитанию в школах и на официальных мероприятиях. Две чеченские кампании также оказались вписанными в дискурс противостояния России и мирового экстремизма, спонсируемого Западом. Таким образом, при участии ветеранских организаций сложился нарратив единой войны, в которую вовлечена Россия, от Великой Отечественной до современных конфликтов в Южной Осетии, на Донбассе и в Сирии. Один из интервьюеров докладчицы, ветеран Афганской войны, так объясняет школьникам необходимость передачи военного опыта: «Я уже воевал, а у вас еще будет ваша война».

В докладе «*Как заключение в ГУЛАГе повлияло на маньчжурских русских? Сравнение историй вынужденных и добровольных переселенцев из Маньчжурии в СССР*» Лори Манчестер (Университет штата Аризона, США) рассмотрела, как складывались жизненные стратегии и биографические нарративы репатриантов и как они меняются под воздействием государственного насилия. На момент входа советских войск в Маньчжурию в 1945 году там существовало самое многочисленное сообщество русских эмигрантов, многие из которых были участниками Белого движения. Согласно воспоминаниям, эмигрантов охватило чувство эйфории от победы и воссоединения с соотечественниками, однако вскоре развернулись крупномасштабные репрессии, затронувшие около 10 тысяч человек — в основном мужчин, добровольно либо принудительно сотрудничавших с японской администрацией. Чаще всего репрессированных приговаривали к десяти годам лагерей. С 1945 года начался стремительный процесс советизации Маньчжурии — закрытие эмигрантской прессы, ограничение контактов с внешним миром. Маньчжурия стала закрытым обществом под советским контролем. Когда в 1954 году эмигрантам было предложено вернуться в Советскую Россию, большинство согласилось по разнообразным причинам: молодое поколение восприняло коммунистическую идеологию, другие видели возвращение дореволюционных идеалов в ослаблении гонений на Церковь и восстановлении престижа военных, некоторые боялись эмигрировать в капиталистические страны под страхом репрессий. Всего более

100 тысяч человек переселились в Советский Союз. Подавляющее большинство репрессированных «харбинцев» также осталось в Советском Союзе, приняв советское гражданство. Как добровольные переселенцы, так и пережившие репрессии образовывали в Советском Союзе «диаспоры на родине», однако их восприятие советского общества и биографические нарративы значительно различались. Для репрессированных важное значение имел Харбин до 1945 года, который они воспринимали как часть дореволюционной России. Часто воспоминания о нем предваряют воспоминания о лагерном опыте, что нехарактерно для других лагерных мемуаров, действие которых начинается уже в заключении. Для добровольных репатриантов даты, разделяющей жизнь на до и после, чаще всего не существует: в отличие от репрессированных, они были готовы воспринимать себя «советскими людьми» и интегрироваться в советское общество. Репрессированные не могли воспринять СССР своей родиной, однако для них играла заметную роль идея «вечной России» и долга перед ней. После 1991 года вынужденные переселенцы наконец почувствовали, что «вернулись домой», а добровольные переселенцы, наоборот, испытали чувство потери родины из-за утраты социального статуса и резких общественных изменений — все это в какой-то степени возродило их «харбинскую идентичность». Именно «харбинские ценности» — скромность, трудолюбие, честность, практичность, — по мнению представителей обеих этих групп, помогли им выжить и интегрироваться в Советском Союзе.

Завершал блок, посвященный насилию и обществу, Ханс Ульрих Гумбрехт (Стэнфордский университет, США) докладом «*Насилие толпы: интеллектуальное упражнение о двусмысленности*». Согласно Гумбрехту, сегодня насилие стало одним из главных понятий гуманитарных наук, и пристальное внимание интеллектуалов к нему обусловило еще один, практически не артикулированный, но чрезвычайно важный «поворот» в гуманитарном знании — моралистический. Интеллектуалы, озабоченные тем, чтобы находиться на верной стороне, то есть на стороне жертв, трактуют насилие слишком расширительно, размывая границы понятия. Такой подход, чреватый неуважением к жертвам физического насилия, не оставляет места для вопроса о том, чем оно является в качестве антропологической константы. Гумбрехт предложил свое определение насилия, которое подчеркивает его физическое и телесное измерение: «захват телами пространства вопреки сопротивлению других тел». Обращаясь к собственному опыту спортивного болельщика, докладчик отметил, что ситуация пребывания в толпе неизменно содержит — в потенциальной и непроявленной форме — угрозу насилия, непосредственно связанную с ликованием. Интеллектуалы всегда двусмысленно относились к толпе и ее манифестациям — с одной стороны, существует мифология «харизматического насилия» толпы, когда она без руководства лидеров совершает героическое освобождающее действие, такое как штурм Бастилии. С другой стороны, толпа всегда вызывает подозрение, которое можно проследить в европейской интеллектуальной традиции от Лебона до Фрейда, Ортеги-и-Гассета и Канетти — толпа связана с риском потери рациональности. По наблюдению Гумбрехта, в опыте толпы всегда присутствуют три измерения: латеральное — связанное с находящимся рядом другим, транзитивное, относящееся к месту, к которому обращен коллективный взгляд, и телесное (gooseflesh), связанное с интенсивностью в делезианском смысле — становление субъекта частью группы, основанной на общем телесном присутствии. Этот опыт интенсивности, согласно Гумбрехту, связан с потенциальностью насилия. Стремление элиминировать насилие может вести к его дисперсии и большей непредсказуемости, поэтому важна как новая антропология насилия, так и общественные ритуалы, такие как спортивные матчи, концерты и другие «места толпы», в которых это насилие реализуется в регламентированной форме.

Последний блок конференции, посвященный культурной репрезентации и рефлексии насилия, открыл Андрей Зорин (Оксфордский университет, Великобритания / МВШСЭН, Москва) докладом «*Чему улыбался Платон Каратаев — к предьстории толстовской философии преступления и наказания*». Имя Льва Толстого неразрывно связано с его апологией ненасилия, являвшейся ключевым моментом его версии христианства. Толстой признавал, что, хотя идеал ненасилия и является абсолютным и не может быть подвержен теоретическому пересмотру, отклонение от него неизбежно происходит в жизненной практике. Суть нравственной жизни, таким образом, заключается в усилии человека на пути нравственности. Основным вредом насилия, по Толстому, причиняет душе человека, его совершающего, и самыми тяжкими формами насилия признаются те, которые закрывают человеку путь к раскаянию. В этой иерархии криминальные преступники как осуждаемые обществом обладают большими шансами на спасение. Ниже находятся убивающие по приказу — палачи и солдаты. На дне нравственной бездны — те, кто отдают приказы убивать — от судей до царей. Диалектика насилия и наказания отчетливо раскрывается в эпизоде из «Войны и мира», в котором Платон Каратаев рассказывает Пьеру Безухову историю о купце, несправедливо обвиненном в убийстве. Этот сюжет был настолько важен для Толстого, что он использовал его второй раз — в рассказе «Бог правду видит, да не скоро скажет». В этом эпизоде важным оказывается не только способность убийцы к раскаянию, но и бессилие власти: официальное помилование опаздывает, и купец, «прощенный Богом», умирает. Власть оказывается неспособной ни на справедливый суд, ни на помилование.

Евгений Пономарев (ИМЛИ РАН, Москва) в докладе «*Антропология насилия в ранней советской литературе*» поделился наблюдениями о репрезентации революционного насилия в советских и эмигрантских текстах 1920-х годов. Уже в самых ранних пореволюционных текстах смысл революционного насилия помимо политической прагматики наделялся автономной ценностью. Насилие, направленное против представителей «господствующего класса» и его агентов, докладчик предлагает описывать отталкиваясь от концепции жертвоприношения Рене Жирара. Жертвы этого насилия, как и жертва у Жирара, оказываются исключенными из общественного порядка, лишены гражданской идентичности, субъектности и имени. В отличие от жираровского жертвоприношения, исключая мотив мести, революционное насилие предстает как акт возмездия, отмщения за угнетение. В то же время складывается дискурс героической революционной жертвенности, примеры которой обнаруживаются в большом количестве текстов: от революционного гимна «Вы жертвою пали в борьбе роковой» до «Голого года» Пильняка и «Разгрома» Фадеева. Количество павших в борьбе революционеров как бы подтверждает величие дела революции — когда в советском каноне эпика Гражданской войны сменится эпикой Великой Отечественной войны, эта модель будет воспроизведена и там. Героические жертвы во имя революции, в отличие от других, не лишаются своей субъектности и идентичности — напротив, они обладают голосом и способны напутствовать своих последователей. В этом мотиве прослеживается его религиозный генезис: жертва революционеров подобна жертве Христа. В 1930-е годы мотив насилия против «предателей» и «бывших людей» начинает табуироваться — их «уводят» и «передают компетентным органам», революционеры также перестают быть агентами насилия, за ними закрепляется лишь роль жертвы. В ходе обсуждения доклада дискутировалась правомерность применения антропологической концепции Жирара к большевистскому насилию: в какой мере модель, предложенная для традиционного общества, может описывать модерное насилие. Карола Дитце также обратила внимание, что дискурс глорификации ре-

волюционеров-мучеников прослеживается с начала Великой французской революции и развивается на протяжении всего XIX века.

*Михаил Немцев* (независимый исследователь, Москва) продолжил сессию, посвященную репрезентации насилия в культуре, докладом «*Курц, апостол насилия: идеология и насилие в “Сердце тьмы” Джозефа Конрада и “Апокалипсисе сейчас”*», в котором обратился к репрезентации насилия в массовой культуре. В центре доклада находилась мысль о насилии, воплощенная в фигуре Курца. В обоих случаях приближение повествователя к Курцу происходит постепенно, через слухи о нем, голос Курца звучит прежде непосредственного столкновения с ним. Оба Курца — самые эффективные акторы: Курц Конрада — лучший торговый агент, Курц Кополы — офицер, наиболее эффективно ведущий войну. В «Сердце тьмы» Курц — методолог цивилизации, создатель трактата о приобщении дикарей к цивилизации, в конце которого помещена фраза, находящаяся в парадоксальном противоречии с его содержанием: «*Exterminate all the brutes!*» («Уничтожить всех скотов!»). В фильме звучит ее рефрен: «*Drop the bomb! Exterminate them all!*» («Сбросить бомбу! Уничтожить их всех!»). Курц имеет дело с основным противоречием войны, в которой декларируемые цели цивилизации могут быть достигнуты только применением абсолютного насилия. Сумевший добиться полубожественного статуса в обоих повествованиях, он снимает это противоречие, максимумом насилия добиваясь максимума цивилизации. Курц умирает, оставляя после себя учеников и наследие, указывая на насилие как основной принцип европейской цивилизации.

Доклад *Ильи Калинина* (СПбГУ / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) «*Путешествие из “Петербурга” в “Москву”, или О нормализации трансгрессии*» был посвящен размышлению о соотношении культуры и насилия и переходу границы между ними в контексте недавней российской истории; этот переход и концептуализировался как трансгрессия. Названия городов здесь выступают как социокультурные симптомы эпохи 1990-х (символической столицей которой можно считать Петербург) и эпохи 2000-х и 2010-х годов (со столицей в Москве). В постперестроечное время именно на Петербург как альтернативу московскому центру проецировались коллективные представления о новой жизни в новой стране. Город часто называли не только «культурной», но и «криминальной столицей» России, что вполне соответствует выявленной В. Топоровым антиномичности «петербургского текста». Обратив на это внимание, Калинин обнаруживает характерную для 1990-х структурную гомологию между работой механизмов культуры и механизмов преступности и насилия. Подвижность границ и возможность их перехода была свойственна и культурной сфере (как области производства различий и выхода за пределы обыденности), и криминальному миру (где постоянный передел сфер влияния тоже был сопряжен с переходом границ). Переход границ между культурой и криминалом происходил на разных уровнях: это и мода на криминальную субкультуру (что заметно уже по фильму «Асса»), и экономические связи между высокой культурой и преступным миром, и телевизионные проекты на криминальную тематику, и даже предвыборные агитационные открытки, на которых культура и криминал оказались в буквальном смысле оборотными сторонами друг друга. И культурное производство, и криминальные практики в 1990-е годы можно описать через нарушение нормы, через перехват у государства контроля над культурной традицией, права на институциональное строительство и монополии на насилие. Производство новых художественных форм и механизмы накопления капитала, сопровождавшиеся захватом и деконструкцией старого, обладали общим основанием, которое Калинин усматривает именно в трансгрессии. Однако в современной ситуации и культура, и криминал приобрели отчетливо нормативный характер и институционализировались; если раньше насилие возникало как инструмент пересечения гра-

ниц между зонами культуры и криминала и внутри этих сфер, то сегодня оно стало инструментом защиты этих границ и призвано их производить. Иллюстрируя этот тезис, Калинин приводит в пример трагическую судьбу трех волн акционизма (группа «Война», «Pussy Riot», Петр Павленский). В дополнение к докладу Андрей Зорин отметил, что взаимосвязь культуры и насилия в контексте трансгрессии не специфична для 1990-х годов, а, напротив, совершенно стандартна для современной эпохи, начиная еще с «Разбойников» Шиллера. Специфика этой тенденции в контексте культурного мифа о 1990-х обсуждалась в ходе дальнейшей дискуссии.

Продолжая тему трансгрессии и насилия, *Марк Липовецкий* (Колумбийский университет, США) в своем докладе «Трикстер и насилие» поставил под вопрос устоявшееся представление о трикстере как фигуре, которая не прибегает к насилию, но имитирует его. Трикстер как мифологический и фольклорный персонаж традиционно выступает в качестве воплощения неразрывной связи хаоса и свободы; эта диалектика сохраняется и в фигуре трикстера в советской, постсоветской и современной культуре. Советский субъект-трикстер, постоянно обманывающий систему (будь то бандит Бенья Крик из «Одесских рассказов» И. Бабеля, аферист Остап Бендер или персонажи Булгакова), трансгрессивен по отношению к доминирующим культурным нормам. Липовецкий показывает, что речь Бени Крика строится по особой логике и разворачивается в мессианском времени: по Дж. Агамбену, это время совпадает с моментом «сейчас», в котором имманентное и трансцендентное, жизнь и возможное спасение неразделимы (хотя, разумеется, трикстер — мессия иронический, как и подобные Бене Крику персонажи Хулио Хуренито или Венички Ерофеева, за каждым из которых стоит свое видение новой эпохи и своя формула хаоса и свободы). Сила трикстера — это «власть без власти», которая не покушается на систему, но эксплуатирует ее противоречия. Однако Липовецкий отмечает, что несмотря на это насилие оказывается неотъемлемой частью нарратива трикстера: когда Бенья Крик с помощью насилия «спасает души» своих жертв во имя нового миропорядка, перед нами пародийное осуществление революционного мессианизма. Подтверждения тому, что трикстерский метод может быть далеко не бескровным, можно найти также и в современной западной культуре и политике: Липовецкий рассматривает фильм «Джокер» (2019), где главный герой, совершая насилие, становится мессией революции. Этот фильм прочитывается как диагноз современной культуре, в которой стратегия трикстерства как ненасильственного сопротивления цинизму власти исчерпала себя — ведь сама система уже освоила эту стратегию и превратила ее в орудие репрессии (здесь можно упомянуть как президентство Трампа, так и путинский режим: в обоих случаях деятели власти выступают как профессиональные трикстеры). Трикстер, таким образом, должен быть изобретен заново, чтобы найти новые способы взломать систему изнутри: к примеру, иронический мессианизм по-новому используется в протестных акциях и движениях в современной России (от «Pussy Riot» до Навального). Удастся ли вернуть трикстерству подрывную силу или нужно отказаться от этого метода как скомпрометированного властью? Этот вопрос, поставленный в докладе, взволновал участников дискуссии и позволил прояснить концептуальные различия между трикстерством и цинизмом, а также подробнее обсудить, как на смену 1990-м годам и захвату обществом монопольных прав на материальные и символические ресурсы, которыми раньше обладало государство, пришла нынешняя эпоха, когда государственная власть в свою очередь перехватила и присвоила культурные стратегии, изначально служившие эмансипации от государственной монополии.

*Александра Володина, Сергей Луговик*